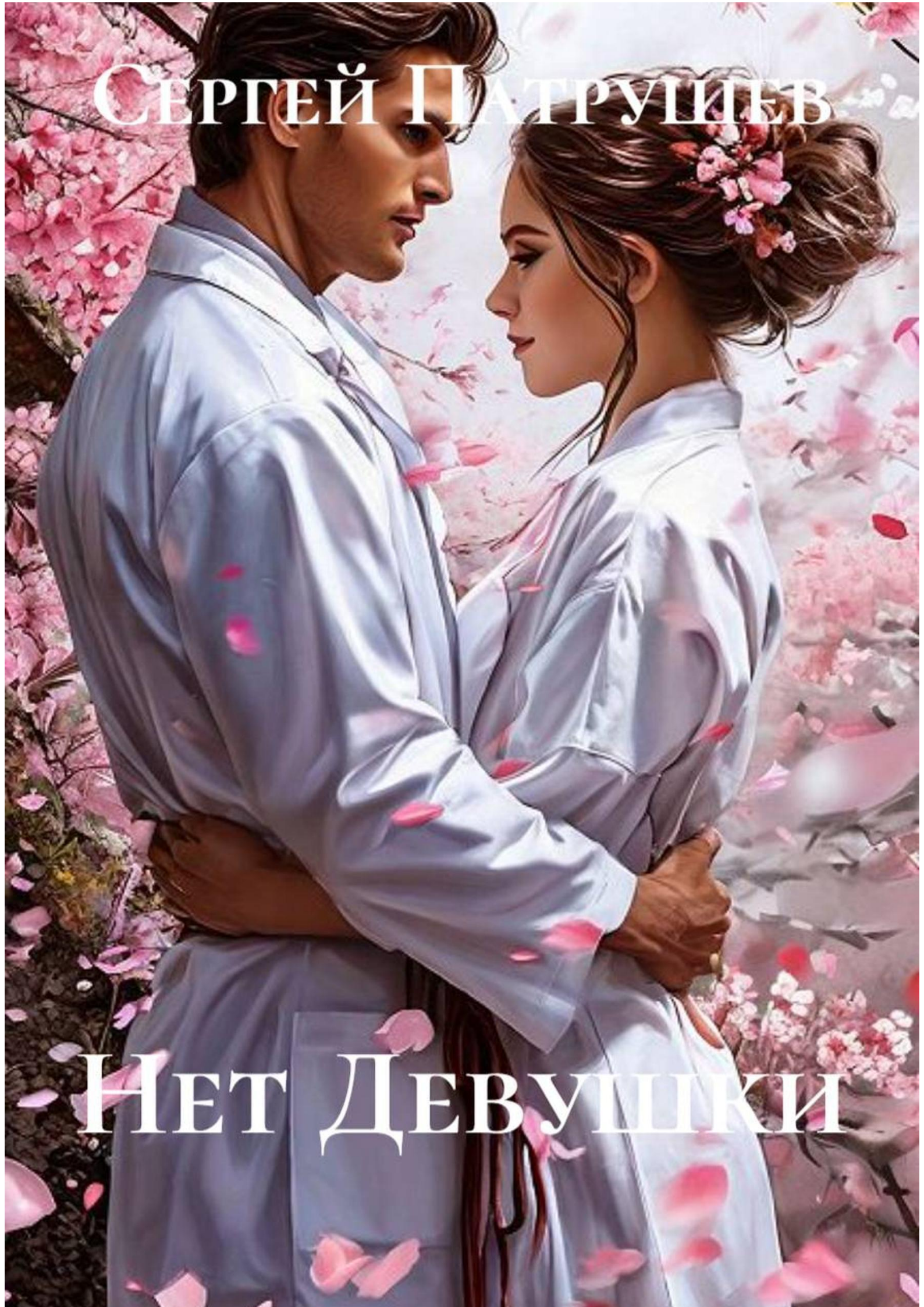




СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

НЕТ ДЕВУШКИ

Сергей Патрушев

Нет Девушки

«Автор»

2026

Патрушев С.

Нет Девушки / С. Патрушев — «Автор», 2026

Он остался один. Девушка ушла, тихо прикрыв за собой дверь и вместе с ней исчезли привычные ритуалы, запахи, смыслы. Впереди — звенящая тишина пустой квартиры, гора немытой посуды, ночные переписки и попытки заполнить пустоту случайными встречами. Это история о мужчине, который после разрыва не бросается спасать отношения, а медленно, мучительно учится жить заново. Через бытовую деградацию и мимолётные связи, через зависть к чужим парам и разговоры с собственным отражением он идёт к простой, но трудной истине: одиночество — не приговор и не награда, а лишь этап. Этап, в котором можно потерять себя окончательно или впервые обрести. Психологическая проза о кризисе, свободе и тихом мужестве быть собой.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тишина после хлопка двери	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Нет Девушки

Глава 1. Тишина после хлопка двери

Она ушла, и в этом уходе было столько невысказанного, столько завуалированного смысла, столько подтекста, что одно лишь воспоминание о том, как именно она уходила, могло бы стать отдельной историей, которую я, вероятно, буду рассказывать самому себе бессонными ночами еще много месяцев подряд, пытаюсь разобрать на атомы каждое ее движение, каждый жест, каждый мимолетный взгляд, брошенный ею через плечо в тот самый последний момент, когда она стояла на пороге, уже готовая перешагнуть невидимую границу, отделявшую наше общее прошлое от ее неизвестного мне будущего. Она аккуратно прикрыла за собой дверь, и в этом жесте — прикрытой, а не захлопнутой двери — было нечто окончательное, гораздо более страшное и бесповоротное, чем мог бы быть самый оглушительный грохот, который, при всей своей разрушительной мощи, все-таки оставляет после себя эхо, затухающую вибрацию, остаточную энергию, а значит — хотя бы теоретическую возможность ответной реакции. Хлопок — это эмоция, это все еще диалог, пусть и на повышенных тонах, это крик в пустоту, на который, как известно, рано или поздно кто-нибудь откликнется, хотя бы из чистого любопытства или инстинктивного желания прекратить шум. А тихое, почти вежливое, почти церемонное закрытие двери — это отказ от любых слов, это постановка точки, выведенной каллиграфическим почерком, без единой помарки, без единой лишней линии, без малейшего намека на то, что автор этого жеста мог колебаться или сомневаться в правильности своего решения.

Она не бросила ключи на тумбу, как сделала бы любая другая женщина, охваченная праведным гневом или хотя бы праведным раздражением, не обернулась, чтобы сказать что-то напоследок, что-нибудь язвительное, обидное или, наоборот, великодушное, что можно было бы потом прокручивать в голове, находя в этих словах скрытые смыслы и тайные послания. Она вообще редко позволяла себе подобные жесты, предпочитая им ледяное молчание и безупречную вежливость, от которых у меня сводило скулы, а внутри все сжималось в тугую ледяной ком, который не могли растопить ни мои попытки извиниться, ни мои неуклюжие шутки, ни мое отчаянное желание хоть как-то пробиться сквозь эту стену холодной отстраненности, которую она возводила между нами с мастерством потомственного архитектора. Просто повернула дверную ручку — медленно, словно пробуя её на прочность, словно прощаясь с самим механизмом, который столько раз открывал и закрывал нам дорогу домой, словно давая мне последний шанс остановить ее, сказать хоть что-то, сделать хоть один шаг навстречу, — и в этой медлительности было что-то невыносимо мучительное, какая-то изощренная попытка, растянутая во времени. На мгновение она задержалась на пороге, на этой невидимой границе между нашим общим прошлым и её отдельным будущим, между тем миром, который мы так старательно строили вместе, и той неизвестностью, которая ждала ее за дверью, и мне показалось, что я вижу, как дрогнули её плечи, как будто по ним пробежала легкая судорога, но, возможно, это просто игра света в сумеречном коридоре, просто тени, отбрасываемые тусклой лампочкой на лестничной клетке. А затем она вышла в подъезд, и дверь с тихим, почти интимным щелчком закрылась, отрезав меня от всего, что было раньше, от всех наших общих воспоминаний, от всех наших планов, от всех наших недосказанностей, отрезав меня от самого себя — того человека, которым я был рядом с ней.

И наступила тишина, которая обрушилась на меня всей своей массой, всем своим колоссальным весом, всей своей невыносимой плотностью, и это было не просто отсутствие звуков,

не обычная бытовая пауза, когда выключен телевизор и не капает кран, когда соседи наконец-то утомонились и даже холодильник перестал гудеть, погрузив кухню в блаженное беззвучие. Это была какая-то новая, неизвестная мне прежде субстанция, какая-то материя, существующая по своим собственным законам физики, не подчиняющаяся привычным представлениям о пространстве и времени. Она имела вес и плотность, эта тишина, она была не просто пустотой, а наполненностью, которая давила на барабанные перепонки, заставляя их звенеть от напряжения, как от резкого перепада давления при взлете самолета или при погружении на большую глубину. Она обволакивала, как густой туман, проникала в легкие, делая каждый вдох ощутимым, почти болезненным, почти мучительным, как будто воздух вдруг стал слишком тяжелым, слишком вязким, слишком чуждым для моих привыкших к легкости дыхательных путей. Казалось, сам воздух в квартире изменил свою молекулярную структуру, стал более вязким, тяжелым, непригодным для дыхания, как будто вместе с ней ушла не только та атмосфера, которую она создавала своим присутствием, но и сам кислород, сама возможность свободно дышать. Я стоял в прихожей, все еще глядя на то место, где только что была она, на то пространство, которое еще хранило тепло ее тела, отпечаток ее энергии, как будто она оставила после себя невидимый слепок, который медленно остывал, и не мог пошевелиться, не мог заставить себя сделать даже малейший шаг вглубь квартиры, которая вдруг перестала быть моим домом и превратилась в декорацию к сценарию, который я не писал и играть в котором не соглашался, в какую-то чужую, незнакомую мне локацию, где я оказался по недоразумению, по чьей-то злой воле, по трагической ошибке мироздания.

В моей голове словно оборвалась туго натянутая струна, та самая, которая все эти годы вибрировала между нами, создавая то напряжение, которое я принимал за страсть, за глубину чувств, за особую интенсивность наших отношений, а на самом деле это была просто натянутость, просто постоянное внутреннее содрогание от близости человека, который никогда не был по-настоящему близок, и теперь я слышал только этот затухающий, вибрирующий звук, который постепенно растворялся в густой, осязаемой тишине, оставляя после себя звенящую пустоту, от которой некуда было деться, от которой невозможно было спрятаться, которая преследовала меня, как навязчивая мелодия, застрявшая в голове на бесконечном повторе. Первое, что я почувствовал, — это не боль, не облегчение, не злость, не разочарование, не страх, а какую-то странную, почти физиологическую дезориентацию, как будто я долго стоял на палубе корабля, привык к бесконечной качке, к тому, что мир под ногами постоянно движется, подстраиваясь под ритм волн, подчиняясь стихии, которая никогда не бывает полностью предсказуемой, а теперь ступил на твердую землю и не мог понять, почему она не движется, почему она так неподвижна, так безжизненно стабильна, так пугающе незыблема. Мой вестибулярный аппарат, привыкший к постоянной нестабильности наших отношений, к этим вечным качелям, на которых мы раскачивались все выше и выше, пока не стало ясно, что падение неизбежно, теперь не знал, как функционировать в этих новых, спокойных условиях, как приспособиться к этой непривычной стабильности, к этой пугающей определенности, в которой не было места для надежды на перемены, потому что перемены уже произошли, и они были окончательными.

Пространство квартиры вдруг изменило свои пропорции, исказилось, как в кривом зеркале, как в ночном кошмаре, где знакомые предметы приобретают угрожающие очертания, и стены, которые еще утром казались свидетелями нашей последней ссоры — немymi судьями, взиравшими на нас с равнодушием вечности, хранителями наших секретов, молчаливыми участниками нашей драмы, — теперь просто были стенами, обычными бетонными перегородками, покрытыми слоями краски и обоев, и они не хранили в себе ничего, кроме пыли, осевшей на них годами, кроме мелких царапин от переставленной мебели, кроме выцветших пятен от солнца, проникавшего сквозь занавески. Они стали равнодушными, эти стены, они

отказались быть хранилищем нашей истории, и в этом было что-то предательское, что-то глубоко несправедливое, потому что я рассчитывал на их поддержку, на их немое свидетельство того, что все это было, что мы были, что наши чувства были реальными, а не выдуманными, а они просто взяли и забыли, стерли нас из своей памяти, как незначительный эпизод, недостойный того, чтобы о нем помнить. Ведь если даже стены забыли, если даже эти безмолвные свидетели отказались от нас, то что говорить обо мне, который пытается удержать в памяти каждую деталь, каждое слово, каждый взгляд, но чувствует, как все это ускользает, как рассыпается в прах при малейшем прикосновении?

Я сделал шаг вперед, к кухне, и звук моих шагов — мягкое шарканье носков по ламинату, этот интимный, домашний звук, который я слышал тысячи раз, который был неотъемлемой частью звукового ландшафта моей жизни, — показался мне оглушительным, почти кошунственным, как крик в читальном зале, как аплодисменты на похоронах, как неуместный смех в минуту скорби. Я вдруг остро осознал, что теперь каждый производимый мной звук принадлежит только мне, и эта ответственность была неожиданно тяжелой, она придавливала меня к земле, заставляла чувствовать себя виноватым за само мое существование, за то, что я продолжаю дышать, ходить, издавать какие-то шумы, в то время как весь мир, казалось бы, должен был замереть в траурном молчании. Раньше мои звуки терялись, растворялись в общем звуковом фоне нашего сосуществования, в шуме воды из крана, в шуршании страниц, в её тихом покашливании, в гудении стиральной машины, в этом постоянном, успокаивающем шуме жизни, который создавал ощущение, что я не один, что рядом есть кто-то, кто тоже живет, дышит, существует. Теперь каждый звук был как выстрел в тишине, как признание, которое невозможно взять обратно, как обнажение чего-то глубоко интимного, что следовало бы держать при себе. Я стал слышать себя слишком хорошо, и это было некомфортно, как смотреть в микроскоп на собственную кожу и видеть все её несовершенства, все поры, все неровности, все следы усталости и прожитых лет, которые раньше были скрыты от глаз, а теперь вдруг стали до неприличия заметны.

Я прошел на кухню, движимый скорее автоматизмом, чем желанием, скорее инерцией привычки, чем осознанным намерением, и мои ноги сами несли меня по знакомому маршруту, который я проделывал бесчисленное количество раз, не задумываясь, не отдавая себе отчета в том, куда и зачем я иду, — этот путь был встроен в мою мышечную память, в мою подсознательную программу действий, которая продолжала работать даже тогда, когда сознание отказывалось верить в происходящее. Взгляд упал на сушилку для посуды, которая стояла на столешнице, как немой свидетель нашей повседневной жизни, и там стояла одна кружка — одна единственная, с нелепой надписью, которую я когда-то выиграл в лотерею на корпоративе, в этой дурацкой игре, где призы были такими же бессмысленными, как и сама игра. Надпись была глупой, что-то про «лучшего в мире начальника», хотя я не был начальником, я был рядовым сотрудником, одним из многих, и кружка досталась мне случайно, в утешительной лотерее для тех, кто не выиграл ничего существенного, для тех, кому судьба решила подарить хотя бы этот жалкий сувенир, чтобы не чувствовать себя полностью обойденным. Она всегда казалась мне уродливой, эта кружка, слишком большой, слишком яркой, слишком кричащей, с этим дурацким шрифтом, который раздражал меня каждый раз, когда я на него смотрел, но выбрасывать было жалко, и она служила мне верой и правдой все эти годы, в то время как её изящные, тонкостенные чашки смотрели на неё с немым презрением с верхней полки, как аристократки смотрели бы на простолюдинку, случайно оказавшуюся в их избранном обществе. Её любимой чашки с тонкими стенками и изящной ручкой, той самой, из которой она пила свой утренний кофе, держа ее двумя пальцами, с этим неподражаемым изяществом, которое я так любил, больше не было. Я открыл посудомоечную машину — пусто, ни одной тарелки,

ни одной вилки, ни одного стакана, только холодный блеск нержавеющей стали, отражающий мое растерянное лицо. На столешнице — ни крошки, ни забытой упаковки от чая, ни случайно оставленной вилки, ни салфетки, ни даже следа от пролитого кофе, который я вечно оставлял и за который она вечно меня ругала с этим своим взглядом, полным укоризны и усталости. Она забрала не только себя, она забрала все мелочи, которые делали это место нашим общим, оставив мне лишь остов, каркас квартиры, как будто здесь прошла санитарная бригада, вычистившая всё лишнее, всё, что могло напоминать о её присутствии, всё, что могло вызвать у меня хоть какую-то эмоцию, кроме этой всепоглощающей, холодной пустоты. И в этой стерильной чистоте я впервые ощутил нечто, похожее на панику, на тот первобытный ужас, который возникает, когда человек оказывается в месте, где раньше кипела жизнь, а теперь — только стерильная пустота, как в больничной палате после выписки пациента.

Потому что в этой квартире больше не пахло, и это отсутствие запаха было, пожалуй, самым красноречивым свидетельством того, что она действительно ушла, что это не сон, не галлюцинация, не очередная ссора, после которой она вернется через пару часов, замерзшая и неприступная, и я снова буду извиняться за то, чего не делал, просто чтобы восстановить хрупкий мир. Не было шлейфа её духов — сладковато-горького, с нотками пудры и чего-то тревожного, какого-то восточного аромата, который она покупала в маленьком парфюмерном магазинчике на углу и который я никогда не мог запомнить по названию, сколько бы раз она мне его ни повторяла, — который обычно встречал меня в коридоре, даже когда её самой не было дома, который пропитывал все вещи, все ткани, все поверхности, создавая ощущение, что она где-то рядом, что она просто вышла на минуту и вот-вот вернется. Не было запаха её шампуня, когда она выходила из ванной, окутанная облаком пара и чем-то таким, от чего у меня всегда перехватывало дыхание, чем-то, напоминавшим мне о первых месяцах наших отношений, когда каждый её запах был открытием, каждый аромат — обещанием, каждое прикосновение — событием, которое я запоминал навсегда. Теперь пахло только пылью, нагретой батареей, и моим собственным гелем для душа, резким, мятым, слишком бодрящим для этого момента, слишком агрессивным, слишком... моим. Этот запах был как пощечина, как внезапное пробуждение от прекрасного сна, как окрик, возвращающий к реальности, которую я не хотел принимать. Он говорил мне: «Ты остался один». Он не оставлял пространства для иллюзий, для надежды на то, что она просто вышла в магазин и скоро вернется, что все это — просто недоразумение, которое скоро разрешится само собой. Этот резкий, ментоловый запах был запахом реальности, и реальность эта состояла в том, что я, взрослый мужчина, стою посреди пустой кухни и вдыхаю воздух, который больше не принадлежит никому, кроме меня, и это одиночество, растворенное в самых молекулах воздуха, было невыносимо.

Я открыл кран, набрал в ладони холодной воды и плеснул в лицо, надеясь, что этот простой физический акт поможет мне вернуться в реальность, вырваться из этого вязкого оцепенения, в которое я начал погружаться, как в трясину, медленно, но неумолимо засасывающую меня все глубже и глубже. Капли стекли по подбородку, упали на футболку, оставив темные пятна, и этот холод прошел по коже, как электрический разряд, как внезапное прикосновение к оголенному проводу, на мгновение вернув меня к действительности, вырвав из этого оцепенения, в которое я начал погружаться. Я смотрел в кухонное окно, выходящее на серый двор-колодец, на этот вечный сумрак, который царил здесь даже в солнечные дни, и видел свое отражение — бледное пятно лица в темном проеме, размытое, нечеткое, как призрак, как приведение, которое еще не до конца осознало, что оно умерло. Я выглядел уставшим, но спокойным, и это спокойствие пугало, оно было неестественным, несоответствующим моменту, как улыбка на похоронной процессии, как смех в церкви, как танцы на пепелище. Где же та истерика, которую я так долго сдерживал в последние недели, те слезы, которые подступали

к горлу каждый раз, когда наши взгляды встречались и тут же отскакивали друг от друга, как отталкивающиеся магниты, тот взрыв, который, как мне казалось, неизбежен и который должен был разрядить ту атмосферу, что сгустилась между нами до предела? Где тот крик, который должен был разорвать эту проклятую тишину, заполнить её, придать ей хотя бы какую-то форму, хотя бы какую-то осмысленность? Его не было. Вместо него было чувство, будто меня обернули в толстый слой ваты, как хрупкую вещь, которую боятся разбить, и мир стал глухим, все мои эмоции, все мои реакции, все мои боли были приглушены, как будто кто-то выкрутил ручку громкости моего внутреннего мира на минимальное значение, оставив лишь слабый, едва уловимый гул в самой глубине сознания, как отдаленный шум прибоя, который слышишь в морской раковине.

Я вернулся в коридор и взглянул на вешалку, и это было, наверное, первое место, которое стоило бы осмотреть в первую очередь, потому что именно здесь, на этих простых металлических крючках, висела вся история наших отношений, все наши выходы и возвращения, все наши совместные походы в кино, в гости, на прогулки. Её крючки были пусты, и эта пустота была красноречивее любых слов, любых объяснений, любых обвинений. Наши куртки всегда висели рядом, часто вплотную, и я любил этот беспорядок, это случайное переплетение рукавов, это небрежное соседство, которое казалось мне символом нашей близости, нашего единства. Мне нравилось, как её легкое светлое пальто касалось моего тяжелого черного пуховика, как рукава наших вещей переплетались, словно они тоже были влюблены друг в друга, словно они тоже не могли вынести разлуки, словно они продолжали обниматься даже тогда, когда мы сами уже не могли этого сделать. Это была маленькая, незначительная деталь, но она создавала ощущение, что мы вместе, что мы едины даже в этом неодушевленном мире, что даже наши вещи хранят память о нас. Теперь моя старая парка висела сиротливо, занимая непропорционально много места, как единственный зритель в пустом кинозале, как последний пассажир в опустевшем вагоне метро, как одинокое дерево на вырубленном пустыре. Обувная полка внизу также претерпела изменения, и эти изменения были, пожалуй, самыми заметными, самыми кричащими. Там, где стояли её аккуратные туфли, ботинки на каблуках, кроссовки, которые она носила по выходным, зияла пустота, как зияет дыра от вырванного зуба, как зияет рана, которая еще не начала заживать. Мои собственные ботинки стояли криво, сбившись в кучу, как овцы без пастыря, как растерянные дети, потерявшие родителей в толпе. Я наклонился и поправил их, повинаясь какому-то странному импульсу, какому-то неосознанному желанию навести хоть какой-то порядок в этом хаосе, и это действие принесло неожиданное удовлетворение, какое-то примитивное, почти животное удовольствие от того, что я могу контролировать хоть что-то в своей жизни. Я выпрямился и оглядел пустой коридор, этот коридор, который видел столько всего: и наши страстные объятия, когда мы только въехали в эту квартиру, и наши торопливые поцелуи перед уходом на работу, и наши ледяные молчания, когда мы проходили мимо друг друга, не глядя, не касаясь, как два незнакомца в лифте.

И тут пришло оно — первое, слабое, как дуновение сквозняка, как легкое прикосновение ветра к занавеске, чувство облегчения, которое я сначала не распознал, приняв его за что-то другое, за головокружение от голода, за усталость, за что угодно, только не за это. Оно было почти стыдным, это чувство, оно пришло откуда-то из глубины живота, из какого-то тайного места, о существовании которого я даже не подозревал, поднялось к груди и заставило меня сделать вдох чуть глубже, чем обычно, чем я позволял себе в последние годы, когда каждый мой вдох контролировался, дозировался, ограничивался невидимыми рамками приличий, установленными кем-то, кого уже здесь не было. Я прислушался к себе, как врач прислушивается к легким пациента, пытаюсь уловить малейшие хрипы, малейшие отклонения от нормы, и да, несомненно, это было облегчение, глубокое, висцеральное, животное чувство, которое

возникает, когда наконец уходит зубная боль, к которой ты уже привык настолько, что перестал замечать её постоянное присутствие, но которая все это время незаметно подтачивала твои силы, отравляла твое существование, делала каждое мгновение жизни чуть более невыносимым, чем оно должно было быть. Мой взгляд упал на обувную полку, на эти ботинки, которые теперь стояли так, как я их поставил, носками внутрь, как бы разговаривая друг с другом, как заговорщики, обсуждающие план побега. Вот уже несколько лет я выслушивал, что мои ботинки должны стоять строго носками наружу, это правило казалось ей фундаментальным, основополагающим законом вселенной, нарушение которого приравнивалось к акту вандализма, к преступлению против человечности. Я не понимал этого правила, не понимал его смысла, его происхождения, его необходимости, но подчинялся, потому что так было проще, потому что спорить по таким мелочам казалось мне унижительным, а она умела превращать любой мой протест в повод для многочасового молчаливого осуждения, которое было хуже любого скандала. Теперь мои ботинки стояли так, как я их поставил, и мир не рухнул, небеса не обрушились на землю, никакого апокалипсиса не произошло, просто два ботинка стояли так, как мне нравилось, и это было маленькой, но победой, крошечным актом освобождения, который значил больше, чем все мои пассивные протесты вместе взятые.

Я медленно стянул с себя футболку, чувствуя, как ткань скользит по моей коже, как она освобождает меня от этого последнего атрибута повседневности, и бросил её на пол в комнате — просто потому, что мог, потому что знал, что никто не войдет и не поднимет бровь с молчаливым укором, никто не скажет с той особенной интонацией, которая заставляла меня чувствовать себя нерадивым школьником, с той интонацией, которая была отточена до совершенства за годы нашей совместной жизни: «Может, уберешь?». Футболка упала, образовав бесформенную лужу ткани на полу, и это зрелище наполнило меня каким-то детским, почти хулиганским восторгом, какой-то первобытной радостью от нарушения запретов, которые были установлены не мной и не для меня. Я постоял над ней минуту, глядя на этот беспорядок, на этот маленький акт неповиновения, на это крошечное преступление против порядка, который был мне навязан, и улыбнулся. Улыбка вышла кривой, дрожащей, неуверенной, как у человека, который долго не пользовался этой мимической мышцей и забыл, как это делается, но это была улыбка, самая настоящая, неподдельная, первая за долгое время. Она ушла, она правда ушла, это не было очередной игрой, очередной манипуляцией, очередным способом заставить меня чувствовать себя виноватым, — и вместе с ней ушла та невидимая, но постоянно давящая сила, которая заставляла меня быть кем-то, кем я не был, которая сжимала меня, как корсет, ограничивая каждый мой вдох, каждое мое движение, каждую мою мысль.

Чтобы не сойти с ума от этого звенящего безмолвия, которое продолжало давить на меня со всех сторон, проникая в самые потаенные уголки моего сознания, я прошел в комнату, сел на диван, на то самое место, которое всегда было моим, и включил телевизор, надеясь, что этот привычный ритуал поможет мне вернуть ощущение нормальности, ощущение того, что жизнь продолжается, что мир не остановился вместе с хлопком двери. Экран ожил, заливая комнату холодным синеватым светом, который заметался по стенам, по потолку, по моему лицу, создавая иллюзию движения, иллюзию жизни в этом застывшем пространстве, как будто кто-то невидимый пытался обмануть меня, заставить поверить, что я не один. Там шло какое-то шоу про рыбалку, эти бодрые мужчины в камуфляже, вытаскивающие из воды блестящую, трепещущую рыбу, были такими далекими от моей реальности, что казались инопланетянами, существами из другого измерения, где нет ни боли, ни одиночества, ни пустых квартир, пропитанных тишиной. Я никогда не рыбачил, но оставил этот канал, потому что переключать было лень, потому что любой другой канал был бы таким же бессмысленным, таким же далеким от моей жизни, таким же ненужным. Звук телевизора не заполнил тишину, а лишь под-

черкнул её, как черная рамка подчеркивает белизну листа, как пауза в музыке подчеркивает красоту звучащей ноты. Голоса ведущих, искусственный смех, рев мотора катера — все это казалось бутафорией, декорациями, за которыми скрывалась все та же звонкая пустота, все то же безмолвие, которое невозможно было заглушить никакими техническими средствами. Раньше в это время мы обычно сидели здесь вместе, это был наш ритуал, наш ежевечерний обряд, который создавал иллюзию близости, иллюзию того, что у нас есть что-то общее, кроме общей жилплощади.

Я вспомнил наши вечера, эти бесконечные часы перед телевизором, которые мы проводили вместе, но по отдельности, каждый в своем коконе, каждый в своей скорлупе, каждый в своем внутреннем мире, куда другому не было доступа. Она всегда брала плед, даже летом, даже когда температура в квартире приближалась к тропической, даже когда я обливался потом от одного взгляда на этот плед, — этот плед был её коконом, её защитной оболочкой, её способом отгородиться от мира, и я часто думал, что она прячется в него не от холода, а от меня, от моего присутствия, от моих попыток пробиться сквозь эту стену отчуждения. Она забиралась с ногами на диван, поджимала их под себя, как кошка, как зверек, готовый в любой момент прыгнуть и убежать, и клала голову мне на плечо, и в этом жесте было столько доверия, столько нежности, что у меня каждый раз сжималось сердце от переполнявших меня чувств. Её волосы пахли шампунем, и этот запах смешивался с запахом пледа и её духов, создавая ту уникальную композицию, которую я называл про себя «запахом дома», и этот запах был для меня важнее всего на свете, важнее любых слов, любых признаний, любых обещаний. Мы смотрели сериалы, я — потому что любил смотреть, как она сопереживает героям, как хмурится, когда на экране несправедливость, как украдкой смахивает слезу в особенно сентиментальных моментах, и мне нравилось наблюдать за ней в эти моменты, нравилось чувствовать себя кем-то, кто знает её настоящую, кто видит её без маски, кто имеет доступ к её подлинным эмоциям. Она — потому что, как мне тогда казалось, ей просто нравилось быть рядом, просто нравилось это чувство общего времени, общего пространства, общего занятия. Теперь я понял, что сериал был для нас не просто развлечением, это был буфер, звуковая завеса, которая позволяла нам находиться рядом, не разговаривая, не выясняя отношения, не замечая той пропасти, которая росла между нами с каждым днем. Под прикрытием чужой драмы мы могли молчать, не испытывая неловкости от того, что нам больше не о чем говорить, что все слова уже сказаны, что все темы исчерпаны, что мы стали друг для друга просто сожителями, делящими общее пространство и общий телевизор.

Я попытался вспомнить, о чем мы говорили в последние месяцы, какие темы мы обсуждали, какие слова произносили друг другу, и с ужасом обнаружил, что наши разговоры сводились к обсуждению бытовых вопросов: о работе, о продуктах, о том, что надо заплатить за квартиру, о том, что пора бы уже починить этот чертов кран на кухне, который капает уже вторую неделю. Мы обсуждали логику нашего совместного быта, но не нас самих, не наши чувства, не наши отношения, не то, что происходит с нами и куда мы катимся. Каждый раз, когда я пытался заговорить о чем-то важном, о том, что нас разъедает, о той невидимой болезни, которая пожирала наши отношения изнутри, она либо отмахивалась, делая вид, что не слышит, либо переводила тему, либо, что было хуже всего, соглашалась, но таким тоном, что я чувствовал себя виноватым за сам факт поднятия вопроса. Она умела соглашаться так, что это звучало как обвинение, как приговор, как констатация моей полной несостоятельности. «Да, ты прав», — говорила она, но в её голосе было столько холодной отстраненности, столько замороженной обиды, что я понимал: я не прав, я никогда не был прав, и само мое существование — это ошибка, это недоразумение, которое она великодушно терпит. Диалог превратился в монолог

на фоне включенного телевизора, в беседу с самим собой, в тщетную попытку достучаться до человека, который уже давно ушел, даже не хлопнув дверью.

Наши ритуалы умирали постепенно, один за другим, как умирают старики в доме престарелых — тихо, незаметно, без свидетелей. Сначала мы перестали завтракать вместе, потому что у нас разное расписание, потому что она уходила раньше, а я задерживался допоздна, и это было так естественно, так объяснимо, так по-взрослому. Потом перестали ужинать за столом, перенеся еду к телевизору, потому что так удобнее, потому что можно совмещать приятное с полезным, потому что за столом стало слишком тихо, слишком неловко, слишком напряженно. Потом еда перед экраном превратилась в еду в полном молчании, когда единственными звуками были звуки жевания и позвякивания приборов о тарелки. А теперь не стало и самого экрана, вернее, экран остался, но исчез человек, ради которого этот ритуал существовал, исчезла причина, по которой я вообще включал этот телевизор каждый вечер. Я смотрел на мелькающие кадры, на этих рыбаков, которые радовались своим уловам, и чувствовал, как в груди что-то сжимается, как будто невидимая рука сдавливает мое сердце, не давая ему биться в полную силу. Это было похоже на фантомную боль, на боль по тому, чего уже нет, но что оставило в тебе выемку, пустоту по форме своего присутствия, как ампутированная конечность, которая продолжает чесаться и болеть, хотя её уже нет, хотя о ней остались только воспоминания и шрамы.

Я представил, что она сейчас делает, где она сейчас, с кем она сейчас, и от этих мыслей мне стало одновременно и горько, и странно спокойно. Наверное, едет в такси, глядя в окно на вечерний город, на эти огни, на этих людей, спешащих по своим делам, на эту жизнь, которая продолжается, несмотря ни на что. Может быть, плачет, уткнувшись в воротник пальто, и водитель делает вид, что не замечает. А может быть, с облегчением выдыхает, чувствуя, как спадает то напряжение, которое сковывало её все последние месяцы. Я не знал, и от этого незнания становилось горько, оно было как привкус полыни на языке, как постоянное напоминание о том, что мы стали настолько чужими, что я не мог предсказать даже её первую эмоцию после нашего разрыва. Странно осознавать, что человек, с которым ты делил постель и планы на жизнь, стал для тебя загадкой, и не в романтическом смысле, а в самом безнадежном — как незнакомец в автобусе, как случайный прохожий на улице, как лицо в толпе, которое ты видишь впервые и, скорее всего, никогда больше не увидишь. Ты видишь его лицо, можешь догадываться о его настроении, но не знаешь ровным счетом ничего, его внутренний мир закрыт для тебя наглухо, и все твои попытки проникнуть туда обречены на провал, потому что тебя туда больше не приглашают, потому что твое имя вычеркнуто из списка гостей, потому что ты стал для этого человека частью прошлого, которое хочется забыть.

Я выключил телевизор, и в комнате снова воцарилась тишина, но теперь она уже не была такой враждебной, такой агрессивной, такой всепоглощающей, она стала просто фоном, просто отсутствием звуков, просто паузой между двумя событиями. Я посидел так немного, глядя в черный прямоугольник экрана, отражающий мой силуэт, — одинокий человек на диване в пустой квартире, классика жанра, подумал я и усмехнулся про себя этой невеселой мысли. Сколько таких, как я, сидят сейчас по своим бетонным коробкам и смотрят в пустоту, прислушиваясь к эху хлопнувшей двери, к этому звуку, который разделит их жизнь на «до» и «после»? Сколько нас — сбитых с толку, оглушенных, потерянных в этом огромном равнодушном городе, в этом каменном лабиринте, где так легко затеряться и так трудно найти себя? Эта мысль была почти утешительной, она давала мне странное чувство солидарности с незнакомыми людьми, которые переживали то же самое, что и я, которые точно так же сидели в своих пустых квартирах и пытались осознать, что их жизнь изменилась навсегда. Я был не

одинок в своем одиночестве, я был частью огромной, невидимой армии людей, оставшихся наедине с тишиной, с этой новой, неизвестной им прежде субстанцией, которая заполнила все пространство вокруг них.

Я встал и прошел на кухню, намереваясь поставить чайник, потому что это действие тоже было ритуалом, тоже частью моей прежней жизни, которая продолжала цепляться за меня, не желая отпускать. Когда-то мы пили чай по вечерам, у нас были красивые чашки, заварочный чайник из глины, который она купила на какой-то ярмарке мастеров и которым очень гордилась. Это было так по-домашнему, так уютно, так похоже на ту жизнь, о которой я мечтал, когда мы только начинали встречаться. Я вспомнил, как она заваривала чай — с особой церемонностью, с прогревом чайника, с точным соблюдением времени заваривания, с этим своим сосредоточенным выражением лица, которое делало её похожей на жрицу какого-то древнего культа. Я всегда подсмеивался над этой её педантичностью, над этой её серьезностью в таких мелочах, но в глубине души любил эту её черту, любил то, как она умела превращать простые вещи в маленькие праздники, в моменты, которые хотелось запомнить, в ритуалы, которые придавали нашей жизни смысл. Теперь я смотрел на одинокую кружку с дурацкой надписью и понимал, что это и есть мое настоящее, моя новая реальность, в которой нет места красивым чашкам и глиняным чайникам, в которой есть только эта нелепая кружка и пакетик дешевого чая, и это одиночество, которое пропитало все вокруг.

Я заварил чай и сел за стол, на то место, которое всегда было моим, напротив того места, которое всегда было её. Стул напротив пустовал, и его пустота бросалась в глаза сильнее, чем отсутствие вещей, сильнее, чем пустые крючки на вешалке, сильнее, чем пустая сушилка для посуды. Раньше она сидела там, подперев голову рукой, и смотрела в свой телефон, листая бесконечную ленту новостей и социальных сетей, или читала книгу, или просто смотрела в окно, о чем-то думая, и я часто ловил себя на мысли, что даже не знаю, о чем она думает в такие моменты, что происходит в её голове, какие мысли занимают её внимание. Я не спрашивал, потому что боялся услышать, что её мысли далеко от меня, что она думает о ком-то другом, о какой-то другой жизни, которая могла бы у неё быть, если бы она не связала свою судьбу со мной. Или, что еще хуже, я боялся услышать, что она вообще не думает обо мне, что я просто отсутствую в её внутреннем мире, как отсутствует мебель, к которой привыкаешь и которую перестаешь замечать, как отсутствует фоновый шум, который не замечаешь, пока он не прекратится.

Я сделал глоток, и чай был слишком горячим, он обжег язык, оставив на нем ощущение онемения, которое, впрочем, быстро прошло, сменившись привычной чувствительностью. Я поставил кружку на стол и огляделся, рассматривая эту кухню, которая вдруг показалась мне огромной, не просто большой, а необъятной, как ангар, как вокзал, как собор. Это было странно, ведь мы жили в довольно скромной двушке, где каждая вещь знала свое место, где пространство было организовано с максимальной эффективностью. Но отсутствие другого человека каким-то мистическим образом раздвинуло стены, увеличило объем помещения, создало ощущение, что я нахожусь в каком-то другом, незнакомом мне месте. Теперь у меня было слишком много пространства, этого пространства, которое требовало заполнения, заполнения звуками, вещами, эмоциями, но главное — заполнения самим мной, моим присутствием, моей личностью, моим существом. Этого-то я и боялся больше всего, ведь что, если я окажусь недостаточным для этого пространства, что, если моей личности не хватит, чтобы заполнить эти квадратные метры, и я останусь жить в пустой скорлупе, как призрак, не способный занять отведенное ему место, как актер, который вышел на сцену и забыл все свои реплики?

Сколько я так просидел, глядя на эту пустоту, на этот стул напротив, на эту кружку с остывающим чаем? Минуту, десять, час, вечность? Время перестало быть осязаемым, оно текло сквозь пальцы, как вода, как песок, как дым от давно потухшей сигареты, оставляя после себя только это ощущение растерянности, это чувство, что ты находишься вне времени, вне пространства, вне привычных координат существования. Я слышал, как гудит холодильник, этот монотонный, успокаивающий звук, который сопровождал меня всю мою взрослую жизнь, как капает вода из неплотно закрытого крана, этот ритмичный, гипнотизирующий звук, который она всегда просила меня устранить, как за окном шумит ночной город, этот отдаленный, приглушенный шум, который никогда не прекращается, который является саундтреком городской жизни. Звуки жизни, звуки одиночества, они сплетались в какую-то какофонию, которая, парадоксальным образом, начала меня успокаивать, потому что в ней было что-то постоянное, что-то неизменное, что-то, что не зависело от моих отношений с другим человеком. Впервые за долгое время я почувствовал, что могу делать то, что хочу, что я свободен в своих действиях, что я больше не должен оглядываться на кого-то, кто оценивает каждый мой шаг. Это чувство было острым и пьянящим, оно наполняло меня изнутри, как шампанское наполняет бокал, поднимаясь все выше и выше, угрожая перелиться через край, и в этом чувстве была какая-то опасная эйфория, какое-то головокружение от открывшихся возможностей. Я мог встать и открыть окно настежь в январе, впустив в квартиру ледяной зимний воздух, и никто не сказал бы мне ни слова. Я мог включить музыку на полную громкость, ту самую, которую она ненавидела, и наслаждаться ею, не боясь осуждения. Я мог разбить эту чертову кружку с идиотской надписью, если бы захотел, и никто, никто не сказал бы мне ни слова, никто не посмотрел бы на меня с укором, никто не устроил бы мне молчаливый бойкот.

Я вспомнил, как она ненавидела, когда я громко дышал, и это воспоминание вызвало у меня одновременно и боль, и какое-то горькое удовлетворение от того, что теперь я могу дышать так, как мне хочется. Ей мешал любой мой звук, любое проявление моей физической природы, любого напоминания о том, что я живой человек, а не манекен. Слишком громко жевал, слишком шумно вздыхал, слишком резко ставил кружку на стол, слишком тяжело ходил, слишком громко кашлял, слишком часто моргал, — весь я был слишком, слишком для неё, и от этого «слишком» я задыхался, я чувствовал, как моя индивидуальность сжимается до размеров горошины, до полного исчезновения. Я научился жить на цыпочках, приглушая сам себя, чтобы не вызывать раздражения, и это превратило меня в кого-то, кем я не был, в какую-то бледную тень самого себя, в какого-то призрака, который боится производить звуки. Я стал тихим, аккуратным, невидимым, я стал тенью самого себя, бледной копией, лишенной ярких красок, лишенной самого права на существование. Но теперь, в этой новой, пустой тишине, я вдруг снова услышал себя, свой стук сердца, свое дыхание, свой голос, прозвучавший в голове, и этот голос был незнаком мне, он был ниже, увереннее, спокойнее, чем тот, к которому я привык, чем тот, который я научился подавлять за годы нашей совместной жизни. Это был голос человека, которого я давно похоронил под слоями уступок и компромиссов, под грудой отказов от самого себя, и теперь этот человек возвращался к жизни, медленно, неуверенно, но возвращался.

Я сделал еще один вдох, глубокий, шумный, нарочито громкий, такой вдох, который она бы непременно прокомментировала с этим своим осуждающим видом, и рассмеялся, вслух, в полный голос, и смех прозвучал непривычно, он эхом разлетелся по пустой кухне, отражаясь от стен, но не испугал меня, а, наоборот, придал сил. Я сидел на кухне, один, и смеялся над абсурдностью всего этого, над тем, как мы жили, над тем, как я старался быть удобным, над тем, как она старалась меня переделать, над тем, что мы потратили столько лет на эту бессмыс-

ленную борьбу друг с другом. Мы были двумя скульпторами, которые лепили из друг друга идеальные статуи, пытаясь создать совершенные образы, соответствующие нашим представлениям о прекрасном, пока не поняли, что изначальный материал просто рассыпался в прах, что мы уничтожили друг друга в процессе этого творчества. Мы хотели создать идеального партнера, но в процессе уничтожили реального, мы вытесали друг из друга все несовершенство, оставив лишь гладкие, стерильные поверхности, на которых не за что было зацепиться, на которых не могла удержаться никакая искренность, никакая живая эмоция, никакое подлинное чувство.

Вспомнил ее фразу, брошенную в сердцах пару месяцев назад, во время одной из наших особенно бессмысленных ссор: «Ты меня не слышишь». Теперь она звучала как приговор, как эпитафия на могиле наших отношений, как констатация того, что мы так и не смогли преодолеть эту пропасть непонимания. Действительно, не слышал, но и она меня не слышала, мы оба были глухи к потребностям друг друга, мы оба были заняты только собой, только своими обидами, только своими претензиями. Мы говорили на разных языках, хотя использовали одни и те же слова, мы вкладывали разный смысл в одни и те же фразы, и это непонимание, это взаимное несовпадение было фатальным. Мы построили Вавилонскую башню в отдельно взятой квартире, и теперь она рухнула, оставив меня в эпицентре руин, среди обломков наших общих планов, среди осколков наших общих воспоминаний. Я бродил по обломкам нашего общего мира, наступая на острые осколки невысказанных обид, спотыкаясь о камни непонимания, вдыхая пыль разочарования, и в этих руинах я впервые за долгое время чувствовал себя... свободным? Да, свободным, именно это слово, именно это чувство, именно это состояние, которое я забыл за годы нашей совместной жизни.

Я прошел в ванную, чтобы умыться и, возможно, лечь спать, потому что усталость накопилась за этот бесконечный день, и мое тело требовало отдыха, даже если мой разум отказывался сдаваться. В ванной до сих пор витал легкий, почти неуловимый аромат её косметики, и я замер на пороге, боясь сделать лишний шаг, боясь спугнуть этот последний след её присутствия. Он был здесь, этот запах, он пропитал полотенца, зеркало, воздух, он был как напоминание о том, что она была здесь совсем недавно, что она стояла перед этим зеркалом, нанося свой ночной крем, что она смотрела на свое отражение, и я не знаю, о чем она думала в тот момент. Я стоял и вдыхал его, чувствуя, как к горлу подкатывает ком, как глаза начинают щипать от подступающих слез, и этот запах был не запахом страсти или нежности, это был запах привычки, запах человека, который был рядом так долго, что стал частью моей собственной оболочки. И теперь эта оболочка была содрана, оставив меня без кожи, нервно пульсирующего насквозь, уязвимого для любой внешней угрозы. Я осознал, что этот запах — всё, что у меня осталось, он был эфемерным, хрупким, недолговечным, он исчезнет через несколько дней, выветрится, растворится в воздухе, и вместе с ним исчезнет последнее осязаемое доказательство того, что она была здесь, что мы были здесь, что все это не было сном.

Я снял полотенце, которое, наверное, принадлежало ей, оно все еще висело на крючке, и я не знал, почему она не забрала его с собой, может быть, забыла, а может быть, оставила специально, как последний привет, как последнюю ниточку, связывающую нас. Я поднес его к лицу и вдохнул этот запах, и да, это было оно, её мир, её утро, её вечер, вся её жизнь, сконцентрированная в этом куске ткани. Я не мог им утешиться, но и выбросить не мог, я аккуратно повесил его обратно, оставив все как есть, потому что я не был готов отпустить его, не сегодня, возможно, завтра, или послезавтра, или никогда, время покажет. Пусть висит, пусть хотя бы запах останется со мной на эту ночь, на эту первую ночь моей новой, одинокой жизни.

Я лег в кровать, которая была слишком широкой для одного человека, слишком просторной, слишком пустой, и это было так несправедливо, потому что раньше нам казалось, что нам не хватает места, что мы спим слишком близко друг к другу, что нам нужно больше пространства. Её половина была холодной и идеально запроваженной, она не была смята, она не хранила следов её тела, она была как нетронутый снег, как чистая страница, как начало новой главы. Моя половина сбилась в ком, и я лежал на спине, глядя в потолок, который был белым и ровным, без каких-либо трещин, без каких-либо пятен, идеальный потолок для идеальной жизни, которой у нас не было. Я думал о том, сколько раз мы лежали в этой постели, не касаясь друг друга, разделенные невидимой стеной, которую сами же и построили, сколько раз я хотел протянуть руку и дотронуться до неё, но не делал этого, потому что боялся отказа, боялся очередного холодного взгляда, боялся нарушить хрупкое перемирие, которое мы установили. И сколько раз, наверное, она сама хотела того же, но тоже молчала, и мы лежали так, два одиноких человека в одной постели, соединенные только простыней и общим одеялом, и это было, пожалуй, самое грустное зрелище в мире.

Боль пришла не сразу, она подкралась, как вор, когда я уже начал засыпать, когда мое сознание начало погружаться в спасительную темноту, когда защитные механизмы психики начали ослабевать. Она была не острой, не режущей, а тупой, давящей, распространяющейся откуда-то из области диафрагмы, как будто кто-то положил мне на грудь тяжелый камень, который не давал дышать. Это была боль от осознания того, что больше никогда не повторится, что совместные ужины, которые были нашей святыней, умерли, что просмотр сериалов, который был нашим общим наркозом, растворился, что утренний кофе, который мы молча пили, глядя в окна на просыпающийся город, канул в Лету. Я ощутил эту утрату не как потерю человека, а как смерть мира, как исчезновение целой вселенной, со своими законами, своими традициями, своими внутренними шутками, со своим языком, понятным только нам двоим. Мира, который мы создавали и который оказался настолько хрупким, что не пережил даже попытки его сохранить, и в этом была самая глубокая трагедия: мы не просто расстались, мы уничтожили целую вселенную, и она исчезла без следа, как будто её никогда и не было.

Я повернулся на бок и уставился на пустую подушку рядом, на это белое пятно, которое теперь было просто подушкой, просто куском ткани с наполнителем, но в то же время это был монумент, мавзолей, памятник всем тем ночам, когда она спала рядом, а я не ценил этого. Или ценил, но не так, как нужно было, или ценил, но она этого не видела, или видел, но не мог выразить, и это невыраженное чувство теперь душило меня, оно требовало выхода, но выхода не было. Я думал о том, что на этой подушке больше никогда не будет её головы, что эта ткань больше никогда не впитает в себя запах её волос, что я больше никогда не увижу, как она сворачивается калачиком во сне, как что-то бормочет, как дышит ровно и спокойно, когда ей хорошо. Все эти детали, которые я так любил, исчезли, они стали воспоминаниями, призраками, которые будут преследовать меня еще долгое время, которые будут являться мне во сне и наяву, которые будут напоминать мне о том, что я потерял.

Сон не шел, он отступал перед этим потоком мыслей, перед этой лавиной воспоминаний, перед этой бурей эмоций, которые захлестывали меня с головой. Я слышал, как дом дышит: скрипит, гудит, потрескивает, эти звуки раньше терялись в звуках нашего общего быта, они были незаметны, несущественны, они были просто фоном, на котором разворачивалась наша жизнь. Теперь они стали главными действующими лицами этой симфонии, этого концерта одиночества, который исполнялся специально для меня. Я слушал их и чувствовал, как одиночество пропитывает меня насквозь, как оно проникает в мою кровь, в мои кости, в мои мысли, как оно становится частью меня, как оно заполняет те пустоты, которые оставила после себя

она. Я был один, абсолютно, безоговорочно, безвыходно, и это одиночество имело вкус металла на языке и текстуру грубой шерсти на коже, оно обволакивало меня, убаюкивало, шептало на ухо что-то неразборчивое, но почему-то успокаивающее.

Но странное дело: вместе с болью и одиночеством, где-то на самом дне, зарождалось нечто иное, что-то похожее на росток, пробивающийся сквозь асфальт, что-то упрямое, несмотря ни на что стремящееся к свету. Это была радость, стыдная, маленькая, но очень упрямая, радость от того, что я больше не должен соответствовать, не должен быть идеальным, не должен ставить обувь носками наружу, не должен дышать тише, чем того требует организм. Я мог раскинуться на кровати звездой, заняв все пространство, и никто не сделал бы мне замечание. Я мог не мыть за собой чашку до утра, если не хотел, и никто не посмотрел бы на меня с упреком. Я мог громко слушать музыку, ту самую, которую она называла «шумом», и наслаждаться ею в полной мере. Я мог жить, просто жить, не оглядываясь на кого-то, не подстраиваясь под чужие ожидания, не сжимая себя до размеров горошины.

Я закрыл глаза, и мысль о новой жизни не пугала, а, наоборот, давала какое-то странное, извращенное утешение, какую-то надежду на то, что все еще может быть хорошо, что эта пустота — не конец, а начало, что эта тишина — не приговор, а возможность. Я знал, что завтра утром проснусь в этой пустой квартире, и первое, что я почувствую, будет не боль, а просто тишина, и мне нужно будет заново научиться с ней жить, научиться заполнять её собой, научиться быть самодостаточным, целостным, не нуждающимся в постоянном одобрении. Это была пугающая перспектива, но в ней была своя, мрачная красота, красота чистого холста, на котором я мог нарисовать что угодно, красота неисписанной страницы, на которой я мог написать любую историю. А может быть, не нужно будет ничему учиться, может быть, эта тишина и есть мой новый, единственно верный партнер, партнер, который не требует, не упрекает, не ждет, который просто есть, как воздух, как свет, как само существование. Она просто есть, и я есть в ней, мы сосуществуем, не мешая друг другу, не пытаюсь переделать друг друга, и это, наверное, и есть то, что я искал всю свою жизнь — покой, который не зависит от другого человека, тишина, которая не пугает, а утешает, одиночество, которое не ранит, а освобождает.

Я уснул с этой мыслью, не заметив, как по щеке скатилась слеза, одна-единственная, тихая дань ушедшей эпохе, эпохе, которая закончилась тихим щелчком дверного замка, эпохе, которая оставила после себя лишь запах духов, пустые крючки на вешалке и одну одинокую кружку на кухне. Она упала на подушку, оставив темное пятнышко, которое высохнет к утру, но останется в моей памяти, как символ этой ночи, этой ночи, когда я умер и родился заново. А затем наступило небытие, глубокое, черное, без сновидений, тишина, из которой мне предстояло родиться заново, тишина, которая была не концом, а началом, началом чего-то неизвестного, но почему-то очень важного, началом меня самого — настоящего, не отредактированного, не приглаженного, не подстроенного под чужие ожидания. Тишина, которая обещала стать моим самым верным союзником в этом новом, неизведанном мире, раскинувшимся за порогом моей пустой квартиры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.